

## АМУРСКИЕ ВОЛНЫ

### Рассказ

Семьдесят лет тому назад я ехал в поезде из Ленинграда в Белоруссию на каникулы. По вагонам ходил пожилой лишенец и играл на скрипке старинные романсы и народные песни. В то время старинные и вообще всякие романсы не поощрялись, а вместо народных песен так и норовили населению втюхать советские марши типа «Нам нет преград на море и на суше», «Артиллеристы, Сталин дал приказ!», «Три танкиста» и «Полюшко-поле», а в основном предпочитало «Шумел камыш, деревья гнулись» и «Из-за острова на стрежень». Поэтому когда скрипач начинал без особых изысков, но с большим чувством, наигрывать «Очи черные» или «Две гитары за стеной», пассажиры примолкали, потом подпевали и щедро одаривали музыканта кто куриной ножкой, кто бутербродом, а кто и рублем – знай наших!

Музыкант с благодарностью принимал все эти дары, складывал их в свою старомодную корзинку с крышкой и переходил в следующий вагон. А я подумал: «Вот состарюсь – тоже буду ходить по вагонам и играть задушевные мелодии. И все будут благодарить и делиться кто чем может». То, что музыкант – лишенец, было видно по его благородному лицу, грустным глазам и старой студенческой тужурке с форменными пуговицами.

У нас дома такая тужурка хранилась в шкафу, и отец не позволял сдавать ее в утиль, говорил: «Вот ребенок подрастет, ему пригодится». Но мечте моей – ходить в старости по людям и зарабатывать игрой на скрипке – суждено было осуществиться раньше. Гораздо раньше, чем я стал лишенцем, то есть российским пенсионером советского разлива.

Через три года поздней осенью 41-го к нам в интернатскую избу в деревне Степино Костромской области постучались незнакомый дед и зареванная молодуха. Дед вошел, снял шапку, осмотрел нас, сказал:

– Из Вередишина мы. Который из вас тут музыку играет?

Мы стояли и молчали. Уже наученный опытом, что никогда не надо высовывать-ся раньше времени, я тоже стоял и молчал. Сыроежка ткнул меня острым локтем в бок и спросил:

– Ты чего молчишь? Не видишь, человек спрашивает!

И обращаясь к старику, пояснил, ткнув в меня уже пальцем:

– Вот, этот – на скрипке играет!

– На скрипке? – удивился дед. – Лучше бы на балалайке или на гармонии. На скрипке всегда чего-то непонятное играют, а у нас поминки. Вот, похоронку прислали.

Тут молодуха в голос зарыдала. Дед на нее шикнул:

– Да погоди ты! Третьи сутки в себя прийти не может. А ты понятное что-нибудь можешь?

Кроме менюэта Боккерини и гавота Люлли я ничего внятного до сих пор не играл. Но для поминок в деревне Вередишино этот репертуар вряд ли годился. И тут я вспомнил лишенца со скрипкой в поезде Ленинград – Витебск и сказал:

– Можно попробовать. Но мне надо пару дней, чтобы подобрать мелодии.

Тут дед говорит:

– Нам завтра нужно, на сороковые.

Он помолчал немного и добавил:

– Поехали сейчас с нами: у нас в избе зало пустое – там и будешь подбирать свои мелодии. А потом мы тебя привезем обратно. Ты чего-нибудь божественное знаешь:

– Нет, – признался я честно. – Только «Боже, царя храни».

Тут лицо у деда сморщилось. Из единственного глаза выкатилась слеза, он отвернулся, сказав:

– Ну, собирайся, что ли. Мы тебя на улице ждем.

На улице стояла справная бричка, запряженная молодой лошадкой. Видать, дед был не из простых колхозников. И сено в бричке у него было не жесткое из прошлогодней осоки, а шелковое, луговое, с чудным запахом. Я плюхнулся в бричку со своей маленькой скрипкой и большими сомнениями насчет завтрашних поминок, вернее, своего в них участия.

Изда у деда в Вередишине была побольше нашей трехкомнатной итээровской квартиры в Ленинграде. Почему ее у него не отобрали, я так и не понял. На деревенского коммуниста он был не похож. Все те, которых я видел до тех пор, были какие-то заполoshные, крикливые и бестолковые. А у деда все было в полном порядке, как будто советская власть была сама по себе, а он сам по себе. Но вот похоронкой в доме и его она не обошла.

– Стало быть, ты интернатский, – сказал он, когда мы вошли в дом, – значит голодный. Раздевайся, садись на лавку к столу – сейчас похлебаем шти, а потом иди в зало и занимайся сколько хошь. Я уже приду послушаю. Люди ведь будут, неудобно, если вдруг чего как не так. Понимаешь?

Я кивнул головой – чего тут не понимать. У нас в музыкальной школе завуч Генриетта Иосифовна тоже перед концертом приходила в классы всех слушать.

«Зало» была большая комната в пятистенке со своей печкой и нарядной иконой в углу, перед которой теплилась лампада. В комнате стоял длинный стол и крепкие стулья собственной выделки – видать, дедовой работы. Я вынул скрипку из футляра, подтянул смычок, поканифолил его сухой живицей. Стал скрипку настраивать. В моем случае это была нелегкая задача, так как одна струна – «ля» – была порвана, другой струны на замену не было, и я использовал рыболовную леску-жилку, купленную в сельпо. Из мотка лески я вырезал куски на струну, осторожно натягивал, и так как леска была не бог весть какого качества, она часто рвалась на подходе к звуку «ля» – и все начиналось сначала. Постепенно, методом проб и ошибок, скрипка настраивалась, и я начал потихоньку разыгрываться.

Тут-то и дало себя знать недавнее теребление льна. Норма на каждого была один трудодень: три сотки льна вытеребить, перевязать в снопы и сложить в стожки. Лен бывает долгунец и кудряш. Обычно сеют отдельно, но у нас было все вперемежку – полоска долгунца, полоска кудряша. У долгунца стебель тонкий, прямой и скользкий. Двумя руками ухватишь сколько можешь стеблей, сжимаешь их в пучок, скручиваешь и выдергиваешь из земли. Чтобы стебли не выскользнули, сжимать их надо крепко, особенно если земля сухая и они прочно сидят в почве. А если земля сырая, то стебли идут легко, но несут на корнях комья, которые тоже надо отбить и стряхнуть, на что уходит половина времени и, соответственно, выработываешь полтрудодня. Лен-кудряш на то и кудряш, что он такой ветвистый, развесистый, веселый, но в нем обычно прячутся репейники и другие колючки. К концу дня все руки в крови, ночью они распухают и нарываюут. В медпункте наскоро помажут зеленкой, перебинтуют и – снова в поле. Говорят, где-то есть теребильные машины, но это было для нас из области фантазии, а не в нашей Костромской области. Где-то, может, и пахали на лошадях, а не на бабах и коровах, где-то, мо-

жет, и писали в школе в тетрадях, а не между строк на старых газетах. Читать между строк я еще до войны научился, но писать – это вам не языком чесать.

Я размотал левую руку. Слава богу, подушечки пальцев были целы, и промежуток между большим и указательным пальцем тоже не сильно саднил. По крайней мере рука по грифу скользила, но распухшие пальцы слушались плохо и просто мешали друг другу, если надо было взять две ноты рядом. Но терпение и труд все перетрут. И постепенно из-под пальцев стало выходить что-то осмысленное. Как-то сами собой заигрались «Амурские волны», потом «Хасбулат удалой», потом покатали ямщики – один «помирать в степи», другой – «не гонять лошадей». Само собой «раскинулось море широко», и оно пошло уже с таким надрывом, особенно когда «напрасно старушка ждет сына домой», что самого слеза прошибла. Тут дверь скрипнула, вошел дед. «Волна на волну набежала» в последний раз, я опустил скрипку. Дед прокашлялся и спросил:

– А ты верно можешь «Боже, царя»?

– Мелодию помню, а сам не играл. Сейчас попробую.

– Попробуй, попробуй, – сказал дед ласково, – пока никто не слышит. При людях ведь нельзя. И я, представив себе картинку из журнала «Нива» 1898 года «Бракосочетание Их Величеств в Успенском соборе Московского Кремля», которую видел у деда Тупицына, торжественно заиграл «Боже, царя храни». В пустом «зале» звук был сильный и уверенный, я даже рискнул взять несколько двойных нот и аккордов. Дед повернулся к иконе и начал креститься.

– Прости, Господи! Не сохранили тебя, батюшка, погубили окаянные, – просипел он, когда я тянул последнюю ноту. – Это завтра не играй, – сказал он неожиданно строго, – это ты для меня сыграл, но и тебе польза тоже, чтобы не забывал. Пошли, место тебе спать покажу на полатах. Скрипку с собой возьмешь?

– Нет, ей вредно перемена температуры. Пусть здесь лежит.

– Ну, пусть здесь отдыхает, – согласился дед, как будто говоря о существое одушевленном.

– А чего, – подумал я, – может, она еще больше меня одушевленная – вон как разыгралась. Чего это я раньше все какие экосезы и лендлеры пилил? Ни уму ни сердцу!

Перед сном дали неснятой простокваши от пуза и лепешки из дуранды. Кто не знает, это измельченный льняной жмых. Если добавить ржаной муки, очень даже неслабо получается.

Назавтра утром им всем уже было не до меня. Старуха и молодуха суетились у печки, дед заправлял лампы керосином и вешал их в зало, подтопил печь. Я пошел болтаться по Вередишину. На меня с интересом глазели местные сверстники. Они ходили не в нашу школу, интернатских не знали, поэтому мой мышинный бушлат, кирзовые ботинки Г. Д. и забинтованные руки вызывали интерес. Сами они были одеты по-разному, но все тепло и складно.

После работы стал собираться народ. Два инвалида прошлых войн, бабы и девицы разных возрастов и еще не забранные пацаны. Кого-то ждали. Потом подъехала бричка, приехал председатель райисполкома. Оказывается, поминки были по председателю колхоза, и не какого-нибудь захудалого, а передового, гордости сельсовета и даже района. Это все я узнал из речи председателя исполкома. Потом старуха и молодуха стали вносить бутылки с мутноватой жидкостью, расставили стаканы, тарелки с овсяным киселем, картофельные пироги с намазкой, соленые грузди и еще чего-то. И все стали пить и есть, помянув по первой раба божьего Алексея. Дед подтолкнул меня: давай, мол, начинай. Я положил скрипку на плечо и начал «Амурские волны». Народ сначала замолк, потом стал подпевать, потом стал требовать: давай еще, и я стал давать все подряд. На «раскинулось море», когда я добрался до старушки, все бабы рыдали, а молодуха выскочила вон. Народ выпивал, пытались и мне налить, чтобы я тоже с ними помянул. Я

осторожно пригубил и обжегся. Как они это пили стаканами – ума не приложу. Потом они меня научили, как играть «Семеновну» и «Семизарядную». Потом лампы начали коптить и народ стал расходиться. Все важно попрощались со мной за руку, а один дед брякнул.

– Ну, теперь, коли так и дальше война пойдет, то тебе отбою от приглашений не будет.

– Типун тебе на язык, – заорали на него бабы.

Но дед оказался прав. Когда потом мы возвращались с работы или из школы домой и видели у крыльца телегу или кошевку, то так и знали – это за мной приехали на поминках играть.

Отпускали меня охотно, так как с пустыми руками я не возвращался. Сыроежка следил, чтобы я левую руку не испортил и орал на меня, когда я хватался за что-нибудь тяжелое или корявое:

– Убери грабки, хочешь нас без картошки оставить. – А ты чего смотришь, – накидывался он на ближайшего трудника. – Как варежку раззявить, так каждый горазд, а как добытчику подсобить, так у их бельма не смотрят!

Сыроежка был суров, но справедлив, и требовал, чтобы от каждого по способностям и каждому по потребностям, которые он сам и устанавливал. Вот так мы и прожили два года без всякой демократии, и не было у нас ни ссор, ни обид, ни зависти. А вечерами, когда все собирались у печки, начинали печь картошку и обжаривать сохраненные ломтики пайки, Сыроежка говорил:

– А теперь концерт по заявкам. Слушаем старинный вальс «Амурские волны».